



*Дж. Холфорду, эсквайру.*

Дорогой Холфорд!

Когда мы виделись в последний раз, я с величайшим интересом слушал твой рассказ о наиболее примечательных событиях твоей юности, о днях, предшествовавших нашему знакомству. Потом ты пожелал, в свою очередь, услышать мою повесть, но я в ту минуту не хотел предаваться воспоминаниям и уклонился под не слишком убедительным предложением, будто ничего примечательного в моей молодости не произошло. Однако мои неуклюжие извинения ты не принял, и, хотя тотчас переменял разговор, заметишь, как глубоко ты обижен, было нетрудно — на твое лицо словно легло темное облако, которое не рассеялось даже при нашем прощании, а возможно, омрачает и доселе. Ведь все твои письма с тех пор отличает меланхоличная и суховатая сдержанность, которая больно бы меня ранила, подтверди моя совесть, что я ее заслужил.

Не стыдно ли тебе, старина — в твоём-то возрасте, после стольких лет горячей дружбы, когда я уже дал тебе столько доказательств своей искренности, своего доверия и несколько не принимал к сердцу твою молчаливость и некоторую замкнутость? А в них-то, видимо, и вся суть. По природе ты не склонен открывать душу другим, и с твоей точки зрения, разумеется, в тот достопамятный день ты во имя дружбы совершил истинный подвиг (уже, вероятно, поклявшись, больше никогда ничего подобного себе не позволять), а потому был вправе ожидать, что за столь великую милость я тотчас без малейших колебаний отплатю тебе такой же исповедью.

Впрочем, я взялся за перо не для того, чтобы упрекать тебя, оправдываться или просить прощения за прошлые обиды, но для того, чтобы искупить их, если ты позволишь.

За окном моросит докучливый дождь, семейство мое уехало в гости, а я сижу один в библиотеке, перебираю пожелтевшие письма и некоторые другие старые бумаги, вспоминаю былые дни — и чувствую, что теперь совершенно готов развлечь тебя повествованием о давних переменах. Сняв поджарившиеся стопы свои с каминной решетки, я придвинул к письменному столу и, докончив эти строки, обращенные к моему суровому старому другу, намерен кратко — нет-нет, не кратко, но с величайшей полнотой! — ознакомить его со всеми подробностями самого важного события в моей жизни (то есть до моего знакомства с Джеком Холфордом). А после этого обвиняй меня в неблагодарности и недружеской скрытности, если у тебя достанет духа!

Я знаю, ты любишь длинные истории и не менее моей покойной бабушки придирчив к точности самых пустячных обстоятельств и любых мелочей, а потому не жди пощады: я буду соизмерять размеры этой повести лишь с собственным терпением и досугом.

Среди упомянутых мною бумаг покоится старый выцветший мой дневник, который послужит тебе речитативом, что, воспроизводя давние происшествия, я полагаюсь не только на свою память, какой бы цепкой она ни была, и ничуть не намерен злоупотреблять твоим доверием к моей добросовестности. Итак, я сразу же приступаю к первой главе, ибо глав этих будет еще много.

## Глава I

### НЕЖДАННАЯ НОВОСТЬ

Ты должен вернуться со мной к осенним дням 1827 года. Мой отец, как тебе известно, был владельцем фермы в ...шире и, хотя по рождению джентльмен, посвятил себя земледелию. Покорствуя его настойчивому желанию, **6** я стал его преемником на этом поприще, хотя и не

слишком охотно, ибо честолюбие призывало меня к более высоким свершениям, а самоуверенность нашептывала, что, не прислушиваясь к его голосу, я зарываю свой талант в землю и прячу свой светильник под спудом. Матушка тоже всячески убеждала меня, что я способен подняться очень высоко. Однако отец, свято веривший, что честолюбие — наиболее прямой путь к гибели, а перемены ни к чему хорошему не приводят, не желал ничего слушать о том, как я мог бы сделать более счастливым свой жребий или жребий других смертных. Все это вздор, говорил он и с последним вздохом заклинал меня следовать по доброму старому обычаю его путем, как он следовал путем своего отца, не ставить себе целей выше, чем честно прожить жизнь, не косясь ни вправо, ни влево, и оставить родовую землю моим детям по меньшей мере в том же цветущем состоянии, в каком он передает ее мне.

«Ну что же! — решил я. — Честный и трудолюбивый земледелец принадлежит к наиболее полезным членам общества, и я, употребив свои таланты на содержание моей фермы в образцовом порядке и общее улучшение способов ведения сельского хозяйства, тем самым принесу пользу не только моим чадам и домочадцам, но в какой-то степени и всему человечеству, а следовательно, не растрочу жизнь попусту!»

Примерно такими мыслями я утешался, возвращаясь домой с поля в очень пасмурный, холодный и сырой вечер на исходе октября. Однако теплые отблески огня, игравшие на стеклах окна нашей гостиной, ободрили и устыдили меня куда больше всех философских выводов и решений, к каким я понуждал себя. Не забудь, ведь я тогда был очень молод — и в свои двадцать пять лет еще далеко не обрел нынешнего моего умения владеть собой, пусть оно и теперь не так уж велико.

Однако, прежде чем вступить в приют блаженства, я должен был сменить облепленные глиной сапоги на чистые башмаки, сюртук из грубого сукна на более презентабельный и вообще привести себя в благопристойный вид — матушка, несмотря на всю свою доброту, кое в чем была неумолимо строга.

Поднимаясь к себе в спальню, я столкнулся на лестнице с бойкой миловидной девятнадцатилетней девушкой, в меру пухленькой, круглолицей, с румяными щека-

ми, пышными глянцевыми локонами и веселыми карими глазками. Мне незачем объяснять тебе, что то была моя сестрица Роза. Я знаю, что она и теперь, став почтенной матроной, сохраняет приятность облика, а в твоих глазах, полагаю, остается такой же прелестной, как в счастливые дни, когда ты впервые узрел ее. Но в ту минуту я пребывал в полном неведении, что несколько лет спустя она отдаст свою руку и сердце пока еще совершенно мне незнакомому человеку, хотя ему и суждено стать мне другом даже более близким, чем она сама и чем невоспитанный семнадцатилетний увалень, чуть не сбивший меня с ног, когда я спускался, и покаранный звонким подзатыльником, который, впрочем, не нанес ни малейшего ущерба его мыслительным способностям, ибо мозг его защищала не только особо толстая черепная кость, но еще и шапка коротких рыжих кудрей — впрочем, матушка предпочитала называть их золотисто-каштановыми.

Эта почтенная дама сидела в гостиной у камина в своем кресле и вязала — обычное ее занятие, когда она отдыхала от других хлопот. Ожидая нас, она собственноручно выгребла золу из камина и растопила его. Служанка как раз внесла поднос с чайником, а Роза достала сахарницу и чайницу из темного дубового шкафчика, который блестел в уютном свете камина, точно был сделан из полированного черного дерева.

— А, вот и они оба! — воскликнула матушка, обращаясь к нам, но ее гибкие пальцы и сверкающие спицы ни на миг не прервали свое движение. — Закройте-ка дверь и присаживайтесь к огню. Уж наверное вы голодны как волки. Но пока Роза заварит чай, расскажите мне, чем вы сегодня занимались. Я люблю знать про своих детей все.

— Ну, я объезжал серого жеребчика — он очень норовистый, отдавал распоряжения, как распахать стерню — у работника без меня недостало ума самому сообразить, что надо сделать, и намечал, где следует выкопать канавы, чтобы осушить заболоченный луг.

— Узнаю своего трудолюбивого сына! Фергес, а ты что подельвал?

— Барсука травил.

И он во всех подробностях поведал о перипетиях этого благородного развлечения, воздав должное и

барсуку и собакам. Матушка делала вид, будто слушает его с глубочайшим интересом, и смотрела на его оживленную физиономию с материнской гордостью, хотя, на мой взгляд, особых причин для гордости тут не было.

— Пора бы тебе взяться за ум, Фергес, — заметил я, едва он на секунду умолк, переводя дух.

— А что ты прикажешь мне делать? — возразил он. — Маменька не позволяет мне стать моряком и в армию тоже не пускает. А ни на что другое я не согласен, и раз так, буду бить баклуши и допекать вас, пока вы на что угодно не согласитесь, лишь бы от меня избавиться.

Наша родительница нежно погладила крутые завитки его волос. Он заворчал на нее и надулся, но тут Роза в третий раз позвала нас к столу, и мы наконец ее услышали.

— Пейте чай, — заявила она, — а я тем временем расскажу, что сегодня делала я. Ходила в гости к Уилсонам, и, Гилберт, какая жалость, что ты не пошел со мной! Там ведь была Элиза Миллуорд.

— Ну и что?

— Да ничего. Я больше ни словечка про нее не скажу — вот тебе! Только она такая миленькая, такая веселая, когда в хорошем настроении, и, по-моему, она просто...

— Т-с, деточка! Твой брат ни о чем таком и не думает! — прошептала матушка, предостерегающе подняв палец.

— Я просто хотела рассказать вам новость, которую услышала у Уилсонов, — продолжала Роза. — Ни за что не догадаетесь! Помните, месяц назад поговаривали, что Уайлдфелл-Холл кому-то сдают? Так что же вы думаете? Там уже неделю как живут, а никто ничего не знал!

— Не может быть! — воскликнула матушка.

— Чушь какая! — фыркнул Фергес.

— А вот и нет! Там поселилась дама, и, говорят, одинокая!

— Как же так, милочка? Дом ведь совсем развалился.

— Ну, для нее обновили две-три комнаты, и она живет совсем одна, только со старухой служанкой.

— Какая жалость! Служанка! А я-то уж подумал, не ведьма ли она! — пожаловался Фергес, густо намазывая маслом толстый ломоть хлеба.

— Фергес, какой вздор ты выдумываешь! Но, мама, это ведь очень странно, правда?

— Еще бы! Я просто поверить не могу.

— Нет уж, пожалуйста, поверь! Джейн Уилсон была у нее сама. Миссис Уилсон взяла ее с собой и отправилась туда с визитом — она ведь едва услышала, что там кто-то поселился, просто места себе не находила, так ей хотелось все разнюхать и разузнать. Зовут ее миссис Грэхем, и она носит траур — но не глубокий, не вдовый, а сама еще молодая — лет двадцати шести, не больше, но ужасно, ужасно сдержанная! Они по-всякому старались выведать, кто она такая и откуда приехала. Миссис Уилсон, уж конечно, дала волю своей назойливости и сыпала самыми неделикатными вопросами, а мисс Уилсон пускала в ход всякие обходные маневры, но им так и не удалось удовлетворить своего любопытства. Они не добились от нее ни единого ответа, ни единой оговорки, даже ни единого словечка, которые бросили бы хоть малейший свет на ее прошлую историю, нынешнее положение или круг знакомых. К тому же держалась она с ними очень нелюбезно и «прощайте» сказала куда с большим удовольствием, чем «здравствуйте!» Но Элиза Миллуорд объявила, что ее папенька намерен вскоре побывать у нее и предложить ей пастырские советы, которые, как он опасается, должны оказаться далеко не лишними: ведь она, хотя приехала в самом начале недели, в воскресенье в церкви не была. И она — то есть Элиза — уприсит его взять ее с собой и, разумеется, уж что-нибудь от нее да узнает! Ты же знаешь, Гилберт, она всегда добивается того, чего хочет. Мама, и мы тоже должны нанести ей визит! Это ведь только вежливо будет.

— Ну конечно, милочка! Бедняжечка! Как ей, должно быть, одиноко!

— Ах, прошу вас, поторопитесь! И непременно-непреренно расскажите мне, сколько сахара она кладет в чай, какие чепчики и передники носит, и все-все! Я просто не понимаю, как я буду жить, пока не узнаю! — с глубочайшей серьезностью произнес Фергес.

Но если он намеревался блеснуть остроумием, то потерпел горькую неудачу, потому что никто даже не улыбнулся. Впрочем, его это ничуть не охладило: не успел он набить рот хлебом с маслом и поднести к губам чашку, как с такой живостью представил себе столь комичное положение, что вынужден был, давясь, вскочить из-за стола и выбежать в сад, откуда тотчас донеслись мучительные всхлипывания

и кашель.

Я же молча утолял голод ветчиной, жареным хлебом и чаем, а моя матушка и сестрица продолжали обсуждать вероятную — или невероятную — историю таинственной незнакомки. Однако должен признаться, что злоключение моего братца послужило мне хорошим предупреждением, и раза два я ставил чашку на стол, даже не пригубив ее содержимое, из опасения уронить свое достоинство, предавшись, как и он, неудержимому веселью.

На следующий же день матушка и Роза поспешили навестить прекрасную отшельницу, но вернулись, ничего не узнав, хотя, по словам матушки, она ничуть не жалела, что побывала в Уайлдфелл-Холле: ведь если не для них с Розой, так для миссис Грэхем их визит оказался не без пользы — она льстит себя мыслью, что дала той немало полезных советов, и только надеется, что они не пропадут втуне. Миссис Грэхем, хотя больше отмалчивается, а о себе, видимо, очень высокого мнения, тем не менее как будто доступна доводам рассудка. Но только, право, непонятно, где бедняжка жила раньше и о чем думала — настолько невежественна она во многих отношениях, причем даже не стыдится своего невежества!

— В каких же это, мама? — спросил я.

— Да во всех домашних делах и кулинарных тонкостях, которые любая хорошая хозяйка должна знать назубок, пусть даже у нее для всего есть прислуга. Я сумела вывести ее из кое-каких заблуждений, а также сообщила очень хорошие рецепты разных блюд. Правда, она их совершенно не оценила и только просила меня не затрудняться, мол, жизнь она ведет такую простую и скромную, что они ей вряд ли когда-нибудь пригодятся. «Что вы, моя дорогая! — ответила я. — Это необходимо знать каждой уважающей себя женщине. К тому же если вы сейчас и одиноки, так будет не всегда. Вы ведь были замужем и, вероятно, нет, даже непременно, снова вступите в брак!» Тут она напустила на себя высокомерие и ответила: «Нет, сударыня, вы заблуждаетесь. Этого никогда не будет!» Но я ей ответила, что о таких вещах мне лучше судить.

— Наверное, какая-нибудь романтическая молодая вдовушка, — заметил я. — Поселилась здесь, чтобы провести остаток дней в строгом уединении, неутешно оплакивая незабвенного усопшего. Но долго это не продлится.



— И я так думаю, — вставила Роза. — Только особой неутешительности в ней и сейчас незаметно. И она очень хорошенькая, если не сказать красавица. Ты обязательно должен ее увидеть, Гилберт! Уж конечно, ты найдешь ее красоту идеальной, хотя вряд ли решишься утверждать, что между ней и Элизой Миллуорд есть хоть какое-то сходство.

— Что же, я без труда могу вообразить лица куда более красивые, чем лицо Элизы, — но не более очаровательные. Согласен, что у нее нет права считаться безупречно красивой, но, с другой стороны, более совершенные черты лица лишь сделали бы ее менее интересной.

— То есть ты предпочитаешь ее недостатки совершенству других?

— Вот именно, не при маме будь сказано.

— Ах, милый Гилберт, ну какой вздор ты говоришь! Я же знаю, ты не серьезно. Об этом ведь и речи быть не может! — воскликнула матушка и торопливо вышла из комнаты, сославшись на какие-то домашние дела, а на самом деле для того, чтобы не слушать возражений, которые уже были готовы сорваться у меня с языка.

Роза затем принялась сообщать мне еще массу всяких подробностей, касавшихся миссис Грэхем. Ее внешность, манеры, туалет и даже меблировка ее гостиной были описаны с живостью и наглядностью, без которых я вполне мог бы обойтись. Впрочем, слушал я настолько невнимательно, что не сумел бы повторить ни единой фразы из этого описания, даже если бы хотел.

Это было в пятницу, а утром в воскресенье все гадали, пошли ли прекрасной незнакомке на пользу нравоучения священника и увидим ли мы ее в церкви. Признаюсь, я с некоторым интересом посмотрел на семейную скамью бывлых обитателей Уайлдфелл-Холла, поблекшая алая обивка и подушки которой не чистились и не обновлялись уже многие и многие годы, как и угрюмые гербы над ней в мрачных венках из порыжелых траурных лент.

И там я увидел высокую изящную даму в черном. Лицо ее было повернуто ко мне, и что-то в нем заставило меня взглянуть на нее еще раз. Его обрамляли длинные иссиня-черные локоны — прическа в те дни довольно необычная, но всегда прелестная и удивительно ей шедшая. Матовая бледность придавала ему особую нежность. Я не

рассмотрел ее глаз, так как они были устремлены на страницу молитвенника, но увидел лишь длинные черные ресницы, опушавшие опущенные веки. Тонко очерченные брови казались выразительными, высокий лоб и орлиный нос были безупречны, как и остальные ее черты. Только щеки выглядели чуть впалыми, а красивые губы сжимались слишком строго, свидетельствуя, как мне подумалось, о характере, не отличающемся ни особой мягкостью, ни приветливостью, и я сказал себе: «Нет, прекрасная дама, любоваться вами издали — жребий более завидный, чем делить с вами кров!»

В это мгновение она подняла глаза, и наши взгляды встретились. Я не считал нужным отвести свой, и ее вновь обратился на молитвенник, но с выражением тихого презрения, которое почему-то меня больно задело. «А! Видно, она сочла меня дерзким мальчишкой, — подумал я. — Ну что же, придется ей скоро переменить свое мнение, если мне этого захочется!»

Тут я вдруг почувствовал, насколько подобные мысли неуместны в церкви, да и мое поведение оставляло желать лучшего. Однако, прежде чем сосредоточиться на службе, я обвел взглядом церковь, проверяя, не следит ли кто-нибудь за мной. Я мог бы не беспокоиться! Лишь некоторые устремляли глаза на молитвенники, остальные же не спускали их с незнакомки в черном — в том числе моя добрая матушка, сестрица Роза, миссис Уилсон с дочерью и даже Элиза Миллуорд, которая очень осторожно косилась на предмет общего внимания. Затем она поглядела на меня, кокетливо смутилась, порозовела и чинно уставилась в молитвенник, пытаясь придать лицу благочестивое выражение.

Тут я вновь согрешил, о чем мне тотчас напомнил локоть моего неугомонного братца, довольно болезненно стукнувший меня о ребра. Достойное отмщение за подобную дерзость могло его настичь только за стенами церкви, и пока я ограничился тем, что наступил ему на ногу.

А теперь, Холфорд, перед тем, как закончить это письмо, мне следует в двух словах рассказать тебе про Элизу Миллуорд. Она была младшей дочерью приходского священника, обворожительной малюткой, к которой я питал большую слабость — о чем она прекрасно знала, хотя я не только прямо с ней не объяснялся, но, пожалуй, и не собирался этого делать, так как матушка, утверждавшая, что на

двадцать миль вокруг нет ни единой достойной меня невесты, не потерпела бы, чтобы я женился на фитюльке, у которой, не говоря уж о прочих многочисленных недостатках, за душой нет и двадцати фунтов! Элиза была миниатюрна, но очень хорошо сложена. Личико почти такое же круглое, как у моей сестры, с румянцем не таким ярким и здоровым, зато более нежным, носик чуть вздернут, черты довольно неправильные. Пожалуй, ты не счел бы ее даже хорошенькой и все же признал бы очаровательной! А ее глаза! Нет, я о них не забыл — ведь в них-то и заключался главный секрет ее обаяния: миндалевидные, темно-карие, почти черные, они постоянно меняли свое выражение, но в нем всегда было что-то либо почти... я чуть было не написал «дьявольски» лукавое, либо неотразимо обворожительное, а часто и то и другое. Голос приятный, детский, походка легкая и бесшумная, как у кошки, хотя манера держаться больше напоминала прелестного шаловливого котенка, который то весело проказничает, то чинно свертывается клубочком.

Ее сестра Мэри была на несколько лет ее старше, на несколько дюймов выше и более плотного, крупного сложения. Эта некрасивая, тихая, разумная девушка преданно ухаживала за их матерью на протяжении ее последней долгой и тяжелой болезни, а с тех пор и по день, с которого начинается мой рассказ, вела дом, как покорная и безропотная семейная рабыня. Отец с благодарностью полагался на нее, все окрестные собаки, кошки, ребятишки и бедняки любили ее и радовались ей, остальные же обитатели наших мест смотрели на нее сверху вниз или вовсе не замечали.

Сам преподобный Майкл Миллуорд был высоким породным пожилым джентльменом, затенял черной широкополой шляпой крупное квадратное лицо с грубыми чертами, ходил с толстой тростью и облакал все еще сильные ноги в короткие панталоны и гетры (последние в торжественных случаях заменялись черными шелковыми чулками). Он обладал твердокаменными принципами, закоснелыми предрассудками и правильными привычками, не терпел ни малейшего несогласия как с догматами своей веры, так и с собственными взглядами в твердом убеждении, что его мнения всегда сама истина, те же, кто смеет их оспаривать, либо прискорбно невежественны, либо упрямо закрывают глаза на правду.

В детстве я испытывал к нему почтительное благоговение, которое преодолел лишь совсем недавно. Он бывал отечески добр с теми, кто вел себя чинно, но самым суровым образом наказывал наши детские проступки и шалости. К тому же, когда он заходил к нашим родителям, мы должны были стоять перед ним по струнке и отвечать на вопросы из катехизиса, или читать наизусть «Хлопотунья-пчелка малая» и другие благочестивые нравоучительные стишки, или же — самое страшное — назвать текст его последней проповеди и главные ее положения, которые мы никогда не запоминали. Порой преподобный джентльмен пенял моей матушке за склонность баловать сыновей, ссылаясь на старика Илия, Давида и Авессалома, что ее особенно задевало. Как ни почитала она его самого и все его наставления, однажды у нее при мне вырвалось невольное восклицание: «Ну почему у него нет собственного сына! Тогда бы он меньше допекал советами других людей и знал бы, каково это держать в узде двух мальчишек!»

Он похвально заботился о своем телесном здоровье, рано ложился, рано вставал, непременно гулял перед завтраком, одевался тепло, опасался сырости, ни разу не приступал к чтению проповеди, не проглотив сырое яйцо, хотя обладал отличными легкими и могучим голосом, весьма взыскательно относился к тому, что ел и пил, но воздержанностью отнюдь не отличался и, как во всем другом, считал собственные вкусы полезными для всех. Так, презирая чай, который именовал грязной водицей, он предпочитал ему напитки из солода, любил яичницу с грудинкой, ветчину, говядину и другую столь же тяжелую еду, с которой его желудок отлично справлялся. Такую же диету он настойчиво рекомендовал и тем, кто еще не окреп после тяжкого недуга или страдал расстройством пищеварения. Если же его предписания не приносили обещанной пользы, страдальцам объявлялось, что они плохо их выполняли, а когда они жаловались на дурные последствия, то слышали в ответ, что все это их фантазия.

Коротко коснусь еще двоих упомянутых мною особ и завершу это длинное письмо. Я имею в виду миссис Уилсон и ее дочь. Первая была вдовой зажиточного фермера, завзятой сплетницей, склонной к ханжеству, чей характер не заслуживает дальнейшего описания. У нее было двое